

MEMORIA

Л. А. Закс

О МОЕМ УЧИТЕЛЕ А. Ф. ЕРЕМЕЕВЕ

Это еще не «воспоминания» – только какие-то отдельные, наверное, довольно сбивчивые и обрывочные образы, чувства, ощущения и мысли вослед еще такой недавней утрате. Я еще не умею думать об Аркадии Федоровиче Еремееве в прошедшем времени. Я еще слышу его негромкий бархатный низкий голос и отвечаю ему, и жду его реакции.

Весна 70-го года. За окном бушует зелень, бесшабашно светит солнце, на душе легко, свободно, беззаботно. Чтобы заниматься, нужны немалые усилия. Наша группа «эстетиков» слушает спецкурс «Происхождение искусства». Аркадий Федорович – еще доцент – молод, высок, улыбчив, и его улыбка излучает доброту и обаяние. Он в светлом летнем костюме, элегантном, в то же время галстук завязан весьма небрежно. Его довольно длинные, распадающиеся на прямой пробор волосы периодически падают ему на лоб, и он их мимоходом возвращает на место. Мы видим, чувствуем, что нашему лектору, как и нам, хорошо оттого, что весна, что светит солнце и жизнь хороша. Это чувство родства с лектором помогает преодолеть лень и тягу на улицу; и мы постепенно отдаемся ритму неспешного красивого голоса А. Ф., начинаем вникать в рождаемый на наших глазах мир и смысл. А. Ф. «по уши» увлечен первобытностью. Кажется, он знает о ней все: как охотились, питались, размножались, что знали и чувствовали, как проводили досуг люди эпохи верхнего палеолита. До деталей известны ему первобытные ритуалы, устройство жилища и, конечно, бесчисленные первобытные наскальные изображения и глиняные фигуры. И еще он находится в непрестанном диалоге с такими же одержимыми исследователями первобытности – он им постоянно что-то доказывает, о чем-то с ними спорит. И мне удивительна страстность, с какой А. Ф. – у нас на глазах – доказывает свою правоту людям, которых нет рядом с нами и многих из которых, между прочим, давно нет на свете.

Не знаю, почему так засел в моей памяти образ этого весеннего дня, этой лекции и такого А. Ф. До и после я огромное число раз видел и слышал его лекции, доклады, выступления. Что говорить, почти тридцать пять лет – огромную и самую сознательную часть моей жизни – А. Ф. был важнейшим и влиятельнейшим «элементом» моего жизненного ландшафта, моего духовного мира (а таких, как я, возле него за эти годы были сотни, если не тысячи). Почему-то образ именно этого дня, когда я слушаю рас-



А. Ф. Еремеев

сказ своего учителя о происхождении первобытного искусства, остался ярким пятном в памяти. Может быть, потому, что он символичен, что в нем самой жизнью оказались собраны воедино какие-то существенные (и важные для моего сердца и ума) особенности А. Ф. – человека, педагога, ученого.

Уверен, что более-менее полно передать и понять Еремеева-человека можно только с помощью романа. За его мягкостью, деликатностью, дисциплиной внешних проявлений – слов и поступков – скрывался сложнейший и подчас весьма драматичный внутренний мир. Роман о нем стал бы историей человека, сделавшего самого себя, историей непростых отношений человека с Историей, с советской Системой, с ее официальной стороной и повседневностью, мифологией и правдой. Быть в СССР ученым-гуманитарием, ученым-«обществоведом», совмещая несовместимое: поиск объективной истины и соблюдение идеологических

«правил игры», свой взгляд на вещи и навязываемый сверху, – было делом нелегким, подчас мучительным. Это узаконенное двоедушие рождало широкий спектр духовно-психологических извращений – от банального тупого догматизма до равнодушия и цинизма. На А. Ф. эти уродующие воздействия Системы, конечно, тоже влияли, но в главном, существенном он сумел их преодолеть. В этом сказались не только его незаурядный, пылкий и дотошный ум – ум настоящего исследователя, но и обретенные многолетним творческим усилием чувство собственного достоинства – выражение его внутренней свободы, тонкий благородный вкус, запрещающий всерьез воспринимать (уж тем более – восхвалять) пошлости социалистического (как, впрочем, и западного) масскульта в любой сфере: искусстве, философии, политике. Интуиция подлинности, выросшая из постоянной преданной связи с мировой культурой, помогала А. Ф. выбирать в качестве друзей и авторитетных собеседников действительно наиболее талантливых, творческих и свободно мыслящих предшественников и современников – писателей, художников, философов, ученых (в его любимой эстетике такими для него были А. Н. Ильяди, М. С. Каган, С. Х. Раппопорт, Л. Н. Столович). В работе с миром и собой А. Ф. обрел удивительную по меркам нашей сферы самодостаточность: он никогда ничего не принимал на веру, все подвергал критическому анализу, умел самобытно, словно впервые, прочесть тогда непререкаемых классиков, открывая в текстах Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина (а это были очень умные люди, что бы теперь, когда стало можно, о них ни говорили крепкие задним умом) и в диалоге с ними зерна новых истин. И упорно, шаг за шагом, преодолевал почти всемогущую власть ставших догмами общих мест (лично для

меня именно это преодоление, сказывавшееся в идеях, лекциях и работах А. Ф., главное свидетельство его громадного таланта).

Он выработал собственное мировоззрение, многие грани которого умышленно не «светил» (что позволяла специализация на проблемах эстетики и первобытной культуры). Но в самых сокровенных своих произведениях, литературно-критических статьях, он их проговаривал, беря себе в союзники лучших современных отечественных писателей. Высказанные по конкретному поводу и на конкретном литературном материале, выношенные в опыте века и в личном опыте А. Ф., его идеи таили свой подлинный масштаб, свой «глобальный» практически политический смысл. Важнейшей из таких заветных мировоззренческих идей А. Ф. была, например, *идея органичного исторического развития* как необходимого условия осуществления любых социальных замыслов и планов. То, что не органично обществу, то есть то, что не созрело естественным образом в его недрах и не соответствует природе человека и условиям жизни, а, наоборот, искусственно, волевым и силовым образом навязывается ему извне, по мнению А. Ф., исторически обречено и при этом неизбежно ведет к социальным и личным трагедиям. А. Ф. обосновал эту идею (многократно слышанную мной от него и в наших «частных» беседах) в статье о замечательной повести В. Распутина «Прощание с Матерой»; и «экологическая» направленность самой повести как бы отодвинула на периферию, приглушила другой (и для А. Ф. важнейший) смысл его идеи: принципиальную ее антиреволюционность, убежденность в плодотворности только постепенной социальной эволюции, притом такой эволюции, которая осуществляется в согласии с реальным, конкретным человеком, его потребностями, возможностями и чаяниями. А. Ф. всегда была близка поэтическая мысль увлекавшего его в молодые годы Андрея Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек».

Но, конечно, главной сферой, где сказались талант и неортодоксальное мировоззрение А. Ф., стала навсегда избранная им эстетика. Вместе с уже названными коллегами он в конце 60–70-х годов стал одним из ее реформаторов, весьма существенно пересмотрев все фундаментальные проблемы эстетики и подходы к их решению. Вслед за М. С. Каганом он отверг натуралистическое и примитивно-социальное понимание природы эстетических свойств и оригинально развил аксиологическое решение проблемы, предложив, с присущей ему обстоятельностью и многоаспектностью видения, теоретическую модель системы эстетического отношения человека к миру.

Кстати сказать, эта фундаментальная обстоятельность, вечное стремление А. Ф. охватить проблему со всех сторон, его не очень современная убежденность и уверенность в возможности такого охвата подчас вступали в противоречие с его тонкой интуицией и догадками, обещавшими наиболее серьезный результат. Системосозидатель порой побеждал в А. Ф. гениального мастера изящной детали, новаторского оттенка, что не всегда было на пользу делу. В последние годы жизни А. Ф., совпавшие с обновлением всей нашей жизни, он вполне освободился от «мании системы», этого, что ни говори, реликта классического «марксистско-советского» философствования, и всецело отдался тому, в чем был действительно незаурядно самобытен и силен – герменевтической интуиции смысловых пространств искусства и постижению механизмов их порождения-артикуляции (об этом



Слева направо: вице-президент Академии гуманитарных наук России профессор Санкт-Петербургского университета М. С. Каган, ректор Гуманитарного университета Л. А. Закс, заведующий кафедрой эстетики, этики, теории и истории культуры А. Ф. Еремеев. С фотографии 2000 г.

свидетельствует изданная отдельной книжкой большая статья А. Ф. о смысловой загадке пушкинской «Метели» и его многолетняя и, увы, оставшаяся незаконченной работа о «Джоконде», бывшей для А. Ф. символом загадки искусства).

Искусство, конечно же, всегда было главным интересом А. Ф. Начав свою работу с ним в русле канона «теории отражения» в тогдашнем, науко-центристском его варианте, А. Ф. довольно быстро вышел за его границы. Вначале он убедительно показал, что «отражение» мира в искусстве принципиально иное, чем в науке и других формах сознания. А затем, пытаясь объяснить это обстоятельство, а также специфическое воздействие искусства на человека и многие другие его особенности (никакая идеология не могла помешать А. Ф. их видеть и с ними считаться), он пришел фактически к пересмотру всего понимания отношений искусства и действительности, искусства и общества. Искусство оказалось, по А. Ф., уникальным, органично растущим из самой коллективно-индивидуальной жизни людей, способом воссоздания и творческого обогащения, а затем трансляции в пространстве и времени, буквально – «перелива» в индивидуальное человеческое мироотношение опять же уникальной полноты и целостности духовно-практического опыта в его индивидуальной всеобщности и экзистенциальной подлинности. Работы А. Ф. по искусству навсегда похоронили кондовый образ искусства-познания, поставив на его место подвижный и многозначный образ многоликого и полифункционального искусства – Протея, в котором удивительно соединяются бытие и сознание, творчество и восприятие, сиюминутное и всемирно-историческое,

содержательное и формально-языковое, единичное и общее, правдоподобное и условное, мироощущение, миропредставление, миропонимание и миростроение и многое, многое другое. Тут, кстати, пригодилась и первобытность, через которую А. Ф. сумел объяснить искусство в целом.

Мне посчастливилось слушать курс эстетики А. Ф. как раз в тот период, когда складывалась и конкретизировалась его концепция искусства. Надо сказать, что лекции А. Ф. не отличались внешним артистизмом и блеском (ему не свойственно было красоваться вообще). Держался он предельно спокойно и естественно, никогда не повышал голоса, не суетился, не спешил, получая видимое удовольствие от возможности неспешно, но непременно доказательно втянуть слушателей в пространство проблемы (лекции он читал только по проблемам, не признавая повторения прописей: «прочтете сами!»). Как настоящий философ, А. Ф. был озабочен прежде всего и исключительно сущностью предмета. И вот эта сущность – по мере того как ее контуры постепенно возникали на интеллектуальном горизонте лекции – начинала волновать лектора и вместе с ним и его слушателей.

Волновало прежде всего ощущение причастности к открытию истины, поскольку последнее совершалось здесь и сейчас, буквально на наших глазах: мы видели как А. Ф. размышляет, сопоставляет, анализирует, выявляет и обдумывает противоречия, как он сам радуется и нередко изумляется открывающейся картине, как его волнует целесообразная сложность и красота «устройства» искусства. Как фокусник из рукава, он внезапно извлекал на свет интересные факты и примеры и давал им свое толкование и объяснение: примеры не были, как это иногда бывает, моментом передышки или аттракционом для забавы слушателей – они двигали тему к ее концептуальному решению. Иногда читались хорошие стихи, и в них, даже уже мне знакомых, А. Ф. высвечивал новые смыслы и скрытые пружины. Кроме всего прочего, лекции А. Ф. были школой любовного обращения с искусством: бережного, внимательного, чуткого к форме (А. Ф. никогда не позволял себе отрывать содержание от формы и формулировать голую идею – как это пришлось всем нам, когда мы ближе познакомились с современным искусством!). И наконец, вместе с А. Ф. мы приходили к его видению решения проблем, ощущали его новизну, нетривиальность, свежесть, иногда – противоречивость и дискуссионность. А. Ф., заканчивая лекцию, смотрел на нас из-за очков выжидательно-взыскующе, в глазах его читалось: ну как? Иногда, не выдерживая, он прямо задавал этот вопрос, и в его голосе мы ощущали нетерпение, азарт, желание убедиться в том, что убедил, жажду нашей реакции.

Мы далеко не всегда успевали с ответом, робея, не находя нужных слов, иногда просто не понимая всей степени только что представшей перед нами новизны. Но, помню, после лекции по структуре художественного восприятия, когда мы впервые узнали замечательную еремеевскую модель этого процесса, в аудитории возникло общее состояние эмоционального подъема и энтузиазма, которое знают люди, когда-либо пережившие совместную причастность к открытию.

Подобные состояния я не раз испытывал и после теоретических докладов А. Ф. на кафедре эстетики, этики, теории и истории культуры, которой он, ее создатель, руководил с 1996 года, всегда оставаясь не только формальным лидером, но и ее живой душой, ее внутренним познавательным и моральным стержнем, говоря гегелевским языком – пафосом. Его руко-

водство кафедрой, как и вся его деятельность, никогда, почти никогда не мотивировалось мелочными соображениями и стимулами. Он никогда не мучил нас, его подчиненных, скучными методическими или бюрократическими заданиями – ему это было не нужно и не интересно. Но когда кто-то из нас отказывался сделать доклад или не давал вовремя статью в кафедральный сборник, он не просто огорчался (почти до слез – это было видно), но, как ребенок, обижался. Он не понимал, как это можно предпочесть научному творчеству что-то другое, хотя и вынужден был терпеть и вполне человечно реагировал на наши браки, разводы, роды, декретные отпуска и т. д. и т. п. У нас, работавших с ним, было множество поводов убедиться в том, что мы для А. Ф. важны и интересны не только как «штатные единицы» или «сотрудники», но просто как люди...

...Иногда он звонил мне по делу, всегда сразу предупреждая, сколько у него ко мне «пунктов», а потом слово за слово мы начинали разговор «за жизнь» – обо всем, что волновало нас. Я любил эти разговоры, питавшие меня «информацией», а еще более его неподражаемой интонацией мудреца – интеллигента, тончайшим образом слышащего, чувствующего, понимающего жизнь. Мое существование без этих разговоров, без его и сейчас живущего во мне голоса стало беднее.